

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

АЛЬБЕР КАМЮ

ИЗНАНКА И ЛИЦО

Предисловие [1 - к изданию 1954 года.]

Эссеистика, объединенная в этом томе, писалась в 1935–1936 годах (мне тогда было двадцать два года) и была опубликована мизерным тиражом в Алжире год спустя. Это издание давно уже стало библиографической редкостью, и я упорно отказывался от переиздания «Изнанки и лица».

В моем упрямстве не было никакой тайны. Я ни на йоту не отказываюсь от того, что запечатлено в этих текстах, но их форма всегда казалась мне неуклюжей. Предрассудки, связанные с искусством, которые я мимовольно возвращал в себе (к этому я еще вернусь), долго мешали мне решиться на переиздание. Но, быть может, виной тому было тщеславие, внушившее мне, что все мои другие книги безупречны? Нужно ли говорить, что дело было не в этом? Просто я более чувствителен к промахам «Изнанки и лица», чем к известным мне недостаткам прочих моих книг. Но тогда необходимо признать, что моя первая книга затрагивает и частично выявляет предмет, наиболее близкий моему сердцу. Покончив с вопросом о художественной ценности этой небольшой книги, я могу сознаться, что для меня очень важна такая ее ценность, как ценность свидетельства. Я говорю сугубо о себе, так как именно для меня она о многом свидетельствует и именно от меня требует верности, трудность и глубина которой ведома мне одному.

Попытаюсь объясниться.

Брис Парен не впервые утверждает, что эта маленькая книга содержит лучшее из написанного мною. Парен ошибается. Но я на этом не настаиваю, зная о его доброжелательности, я понимаю его категоричность, свойственную людям искусства, и нетерпимость к тем, кто имеет дерзость предпочитать то, чем он был, тому, чем он стал. Брис Парен ошибается потому, что в двадцать два года, если ты не гений, то лишь начинаешь постигать азы писательства. Но я понимаю, что Парен, этот убежденный враг искусства и философ сострадания, имеет в виду. Он имеет в виду – и тут он прав, – что в этих неуклюзых страницах больше доподлинной любви, чем во всех последующих книгах.

Каждый художник хранит в глубине души особый источник, который питает в течение всей его жизни то, чем он является, и то, о чём он говорит. Когда источник иссякает, мало-помалу видишь, что творчество засыхает и растрескивается. Эти бесплодные территории искусства больше не животворит невидимый поток. И когда этот истончившийся, как волос, источник становится скучным и безводным, художнику, покрытому ошметьями жнивья, остается молчать или болтать в гостиных, что одно и то же. Что до меня, то я знаю: мой источник – в «Изнанке и лице», в этом мире бедности и света, где я так долго жил, и воспоминания о котором оберегают меня от двух противоположных опасностей, угрожающих каждому художнику, – злобы и самоупоенности.

С самого начала я никогда не ощущал бедность как несчастье: свет рассыпал на ней свои несметные сокровища. Даже мои мятежи были освещены им. Они были (полагаю, что могу утверждать это без тени лукавства) мятежами ради всех, ради того, чтобы жизнь всех возвысилась до яркого света. Едва ли мое сердце было от природы расположено к такому виду любви, но мне помогли обстоятельства. Чтобы исправить прирожденное равнодушие, меня поместили как раз посередине меж бедностью и солнцем. Бедность не давала мне верить, что под солнцем и в истории все обстоит наилучшим образом; солнце научило меня, что история – это еще не все. Изменить жизнь – да, но не мир, который был для меня священен. Сознаюсь, я начал свой непростой путь почти в неведении, ступив на натянутую нить, по которой с трудом продвигаюсь вперед, отнюдь не уверенный, что достигну цели. Короче говоря, я стал художником, если правда то, что нет искусства без отказа и гармонии.

Так или иначе, но живительное тепло, царившее над моим детством, избавило меня от всякой злобы. Я пребывал в нужде, но одновременно и в каком-то восторге. Я чувствовал в себе безграничные силы: нужно было только найти для них применение.

Силам этим препятствовала вовсе не бедность: в Африке море и солнце даются даром. Препятствие было скорее в предрассудках или в собственной глупости. У меня были все возможности развить свою «кастильскую гордыню», которая причинила мне немало вреда, которую с полным основанием высмеивает мой друг и учитель Жан Гренье и от которой я безуспешно пытался избавиться, пока не понял, что существует некая предопределенность характеров. Лучше было принять собственную гордыню и заставить ее служить себе, чем отаться, как говорит Шанфор, принципам более сильным, чем характер. Но, положа руку на сердце, я могу засвидетельствовать, что среди моих многочисленных слабостей никогда не наличествовал самый распространенный человеческий недостаток, я имею в виду зависть, сущую язву всех обществ и доктрин.

Я не сам воспитал в себе этот счастливый иммунитет. Я обязан им моим близким, которые, нуждаясь почти во всем, не завидовали почти ничему. Только благодаря молчаливости, сдержанности, врожденной неброской гордости эти люди, даже не умевшие читать, дали мне тогда самые возвышенные уроки, сохранившиеся навсегда. К тому же я был настолько поглощен чувствами, что не мечтал о чем-то другом. Даже теперь, когда я наблюдаю в Париже жизнь очень богатых людей, они вызывают у меня глухое сострадание. В мире много несправедливости, но есть одна, о которой никогда не говорят: это несправедливость климата. Я долго пользовался плодами такой несправедливости, сам того не зная. Я уже слышу филиппики наших ревностных филантропов, если только они меня читают. Я-де хочу представить рабочих богатыми, а буржуа бедными, чтобы и дальше сохранять счастливое рабство одних и могущество других. Нет, это не так. Наоборот, когда бедность сопрягается с той жизнью без неба и надежды, которую я, возмужав, обнаружил в ужасных предместьях наших городов, тогда последняя и самая возмутительная несправедливость достигает пика: нужно сделать все, чтобы эти люди избежали двойного унижения нищетой и уродством. Родившись бедным, в рабочем квартале, я, однако, не ведал, что такое настоящее несчастье, пока не узнал ужаса наших промозглых пригородов. Даже крайняя нищета арабов не может с этим сравниться из-за различия небес над головой. Познав хотя бы раз промышенные предместья, чувствуешь себя навек оскверненным и ответственным за их существование.

То, что я сказал, сущая правда. Иногда я встречаю людей, которые живут в невообразимом богатстве. Однако я не могу себе представить, что такому богатству можно завидовать. Однажды, много лет назад, я целую неделю жил, наслаждаясь всеми благами мира: мы спали под открытым небом, на пляже, я питался фруктами и по полдня купался – один на весь берег. В это время я познал истину, которая всегда побуждала меня воспринимать признаки комфорта и вообще обустройства с иронией, нетерпением, а порой и с яростью. Хоть теперь я живу, не заботясь о завтрашнем дне, то есть как человек привилегированный, я не умею чем-либо владеть. Я не могу сохранить ничего из того, что имею и что мне было предоставлено без всяких усилий с моей стороны. И мне кажется, что причина тому – не расточительность, а скорее особый вид бережливости: я жаден до свободы, которая исчезает из-за избытка благ. Самая большая из роскоши всегда совпадала для меня с некой утратой. Я люблю голые стены дома арабов или испанцев. Номер в гостинице – вот где я предпочитаю жить и работать и где легко мог бы умереть. Я никогда не мог предаться тому, что называют внутренней домашней жизнью, которая так часто является противоположностью истинной внутренней жизни; счастье, именуемое мещанским, вызывает у меня скуку и отвращение. Этим моим свойством, впрочем, не стоит гордиться; оно немало способствовало подпитке моих дурных качеств. Я ничему не завидую, и это мое право, но я не всегда представляю себе зависть других, а это лишает меня воображения, то есть доброжелательства. Правда, я создал для личного пользования лозунг: «Надо применять свои принципы в большом, в малом достаточно милосердия». Увы! Лозунги создают, чтобы залатать прорехи в собственном характере. А мое милосердие скорее зовется безразличием. И его результаты, как нетрудно догадаться, менее благотворны.

Но я хочу всего лишь подчеркнуть, что бедность не обязательно предполагает зависть. Даже позже, когда тяжелая болезнь временно лишила меня жизненных сил, которые все во мне преображали, несмотря на невидимые немощи и новые слабости, которые я в себе обнаруживал, даже тогда я познал лишь страх и отчаяние, но только не горечь. Эта болезнь, вне всяких сомнений, добавила другие, более тяжкие недуги к тем, что уже гнездились во мне. Но в конечном счете она способствовала свободе сердца, этой легкой отстраненности от человеческих страстей, которая всегда предохраняла меня от злобы. С тех пор, как я живу в Париже, я знаю, что это королевская привилегия. Но я всегда наслаждался ею без оглядок и угрызений совести, во всяком случае, доселе она озаряла мою жизнь. К

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

примеру, как художник я начинал в состоянии восторга, то есть в каком-то смысле в земном раю. (Известно, что сейчас во Франции есть обычай дебютировать в литературе и даже завершать литературную карьеру, выбирая какого-нибудь художника мишенью насмешек.) К тому же, мои личные чувства никогда не были «против». Люди, которых я любил, всегда были лучше и значительнее меня. Бедность, которую я пережил, научила меня не злобе, но, наоборот, некоторой верности и немому упорству. Если мне случалось об этом забывать, то в том повинны только я и только мои недостатки – отнюдь не мир, в котором я родился.

Воспоминание об этих годах также не давало мне быть довольным результатами моего труда. Здесь я хочу рассказать с такой простотой, на какую только способен, о том, о чем писатели обычно умалчивают. Я не стану говорить об удовлетворении, которое, по-видимому, получаешь от каждой удавшейся книги или страницы. Я не уверен, что так уж много художников такое удовлетворение испытывают. Что до меня, то не думаю, чтобы когда-либо я получал удовольствие, перечитывая законченную страницу. Могу даже признаться – и тут меня можно поймать на слове, – что успех некоторых моих книг меня всегда удивлял. К этому, безусловно, привыкаешь, и это довольно мерзко. Однако даже сегодня я ощущаю себя подмастерьем рядом с писателями-свременниками, за которыми я признаю их истинные заслуги, и первым из них я назову того, кому двадцать лет назад посвятил эти эссе[2 – Жан Гренье.]. Писатель, естественно, имеет свои радости, ради которых он живет и которые способны его щедро одарить. Но что касается меня, то я испытываю их в миг появления замысла, в момент, когда определяется сюжет, когда перед внезапно прояснившимся внутренним взором вырисовываются сочленения твоей задумки, в те сладостные минуты, когда воображение окончательно сливаются с разумом. Эти мгновенья проходят так же неожиданно, как и рождаются. Остается исполнение замысла, то есть долгий нелегкий труд.

С другой стороны, у художника есть радости тщеславия. Писательское ремесло – особенно во французском обществе – часто превращается в ремесло тщеславия. Я говорю об этом, однако, без презрения, да и навряд ли с сожалением. Здесь я похож на других; кто может счесть себя свободным от этой глупой слабости? В конце концов, в обществе, обретенном на зависть и издевку, всегда наступает день, когда наши писатели, осыпанные насмешками, дорого платят за эти жалкие радости. Но за двадцать лет литературной жизни я имел очень мало подобных радостей от профессии, и с течением времени их становилось все меньше.

Разве не воспоминание об истинах, смутно угаданных в «Изнанке и лице», всегда мешало мне чувствовать себя комфортно в публичном воплощении моего ремесла, разве не оно вынуждало меня столько всего отвергать, что лишило меня многих друзей? Игнорируя похвалы или знаки почитания, даешь повод славословящему думать, что ты относишься к нему с пренебрежением, тогда как на самом деле ты сомневаешься только в себе самом. Если бы я проявил ту смесь суровости и любезности, которая встречается в литературном мире, даже если бы я преувеличил свою кичливость, как многие другие, я заполучил бы куда больше симпатии, так как я, наконец, принял бы участие в игре. Но что делать – эта игра меня не развлекает! Честолюбие Рюбампре и Жюльена Сореля часто приводит меня в замешательство своей неприхотливостью и наивностью. Честолюбие Ницше, Толстого или Мелвилла меня волнует хотя бы потому, что оно закончилось их поражением. В глубине души я чувствую себя униженным только перед самыми жалкими судьбами или самыми великими проявлениями духа. Между ними находится современное общество, способное вызывать лишь смех.

Иногда на театральных премьерах, которые являются единственным местом, где я встречаю то, что заносчиво называется «светским Парижем», мне кажется, что зал вот-вот исчезнет, что этот призрачный мир не существует вовсе. Мне представляются куда более реальными другие – великие персонажи, вопиющие на подиумах. Но чтобы не удрать, нужно вспомнить, что каждый из этих зрителей тоже имеет в перспективе свиданье с самим собой, что он об этом знает и, несомненно, вскорости на него отправится. И сразу возникает новое братство: одиночество объединяет тех, кого разлучает общество. Но зная все это, как угождать сему миру, как домогаться его смешных привилегий, поздравлять всяких авторов со всякими книгами, подчеркнуто благодарить благосклонного критика, как пытаться соблазнить противника и особенно с каким лицом принимать комплименты и то восхищение, каковое французское общество – по крайней мере, в присутствии автора (ибо стоит ему уйти, как начнется такое!..), – смакует, как перно. Я ничего тут не понимаю, это факт. Может быть, здесь присутствует много той злой гордыни, власть и устойчивость которой во мне самом мне доподлинно известна. Но

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

если бы только это, если бы пыжилось только одно мое тщеславие, мне кажется, что тогда я хотя бы поверхностно радовался похвалам вместо того, чтобы видеть в них непрерывно повторяющуюся неловкость. Нет, я чувствую, что тщеславие, которым я обладаю вкупе с людьми моего положения, особенно остро реагирует на кое-какую критику, которая содержит весомую часть правды. Перед наплывом комплиментов отнюдь не гордость придает мне тот ленивый и неблагодарный вид, который я хорошо за собой знаю, но (одновременно с глубоким безразличием, существующим во мне наподобие недуга характера) особое, возникающее в тот момент чувство: «Это не то...» Нет, это не то, и потому порой столь трудно поддерживать свою репутацию, что испытываешь некое злорадство, делая все, чтобы ее потерять. И наоборот, по прошествии стольких лет, перечитывая ради этого переиздания «Изнанку и лицо», я инстинктивно чувствую, когда перелистываю некоторые страницы, что, невзирая на их несовершенство, это именно то: эта старая женщина, молчаливая мать, эта бедность, этот свет над оливковыми деревами Италии, эта любовь, одинокая и полная людей, – все, что в моих собственных глазах свидетельствует о правде.

С тех пор, как были написаны эти страницы, я постарел и немало пережил. Я многое узнал о себе, уяснив все свои возможности и почти все свои слабости. Я гораздо меньше узнал о людях, потому что мое любопытство простиралось скорее на их судьбы, чем на их поведение, а судьбы часто повторяются. Во всяком случае, я узнал, что они существуют и что эгоизм, раз уж он не может собой поступиться, должен пытаться быть по крайней мере проницательным. Наслаждаться собой невозможно; я это усвоил, несмотря на немалые способности к этому упражнению. Если одиночество существует, в чем я не уверен, люди были бы вправе мечтать о нем, как о рае. Я иногда мечтаю о нем, как и все прочие. Но два тихих ангела всегда запрещали мне погрузиться в него: один имел лицо друга, а другой – лицо врага. Да, я все это знаю, и еще я понял, или почти понял, чего стоит любовь. Но о самой жизни я знаю не больше того, что так неуклюже изложено в «Изнанке и лице».

«Нет любви к жизни без отчаяния», – написал я не без выспренности на этих страницах. В то время я не осознавал, насколько был прав, я еще не вступил в полосу подлинного отчаяния. Эти времена настали, и они могли разрушить во мне все, кроме необузданного желания жить. Я до сих пор страдаю от этой страсти, одновременно благотворной и разрушительной, звучащей даже на самых мрачных страницах «Изнанки и лица». Кем-то было сказано, что по-настоящему мы живем лишь несколько часов нашей жизни. В определенном смысле это правда, в определенном – ложь, поскольку исступленный пыл, который вы ощутите в нижеследующих очерках, никогда меня не покидал, и, в конечном счете, он является самой жизнью в лучших и худших ее проявлениях. Разумеется, я хотел исправить то худшее, что порождала во мне эта жажда. Как и все, я попытался худо-бедно облагородить свою природу морально. Но увы! Как раз это мне очень дорого обошлось. С помощью энергии, а она у меня есть, иногда удается вести себя – но отнюдь не существовать – в соответствии с моралью. А мечтать о морали, когда живешь страстями, значит обречь себя на несправедливость в то самое время, когда говоришь о справедливости. Человек иногда представляется мне как несправедливость в действии: я говорю о себе. Если мне в данный момент кажется, что я в своих произведениях иногда ошибался или лгал, то это потому, что я не знаю, как честно признать свою неправоту. Конечно, я никогда не говорил, что был справедлив. Мне только случалось говорить, что нужно пытаться таковым быть и что это мука и несчастье. Но разве разница здесь так уж велика? Может ли действительно проповедовать справедливость тот, кому не удается воплотить ее даже в своей жизни? Если бы по крайней мере можно было бы жить сообразно чести, этой добродетели несправедливых! Но наш мир считает это слово непристойным: аристократ участвует в литературных и философских перепалках. Я не аристократ, мой ответ содержитя в этой книге: вот мои близкие, мои учителя, мое потомство, вот то, что через них объединяет меня со всеми. И однако же, признаться, я нуждаюсь в чести, потому что я недостаточно велик, чтобы обойтись без нее.

Но не все ли равно! Я только хотел отметить, что если я и прошел долгий путь со временем написания этой книги, то все же не так уж продвинулся вперед. Часто, полагая, что продвигаюсь, я отступал. Но, в конце концов, мои ошибки, мое незнание и моя верность всегда выводили меня снова на ту старую дорогу, которую я начал открывать с «Изнанки и лица» и следы которой видны во всем, что я сделал потом и по которой в иные утра я все еще бреду в Алжире с тем же легким опьянением в душе.

Почему же, если это так, я долго отказывался предъявлять это слабое

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

свидетельство? Прежде всего потому, что во мне есть – я должен это повторить – художественная сопротивляемость, как у других бывает сопротивляемость нравственная или религиозная. Запретный императив, мысль, что «так не делается», которые мне чужды как сыну первозданной природы, представляются мне как рабу, и рабу восхищенному непреложной художественной традицией. Может быть, это недоверие опирается также на мою глубокую анархичность и потому остается плодотворным. Я знаю свои душевые смуты, буйность определенных инстинктов, беспощадное самозабвение, в которое я могу безоглядно кинуться. Чтобы быть созданным, художественное произведение должно пользоваться прежде всего темными силами души. Но при этом необходимо их направлять, окружать запрудами, чтобы их уровень поднимался еще. Возможно, мои запруды даже сегодня слишком высоки. Отсюда порой эта скованность... Просто тогда, когда установится равновесие между тем, что я есть, и тем, что говорю, возможно, – и я едва осмеливаюсь это произнести – я смогу создать произведение, о котором мечтаю. Признаюсь откровенно, оно будет тем или иным образом похоже на «Изнанку и лицо» и будет повествовать о некоей разновидности любви. Отсюда понятна и вторая причина, побудившая меня сохранить эти юношеские сочинения для себя. Самые дорогие для нас тайны мы. сообщаем беспорядочно и неумело, мы выставляем их в чрезмерно вычурном маскарадном наряде. Лучше подождать, когда станешь искусственным и сможешь придать им форму, не переставая прислушиваться к их голосу, когда сумеешь объединить в приблизительно равных дозах искусство и безыскусность, наконец, когда будешь существовать. Ибо существовать – это все мочь одновременно. В искусстве все приходит одновременно или не приходит вовсе; нет света без пламени. Стендаль воскликнул однажды: «Моя душа – это огонь, который томится, если не пылает». Те, кто в этом похож на него, должны творить только в подобном пылании. Вершина пламениistorгает крик и преобразуется в слова, которые, в свою очередь, этот крик выражают. Я имею в виду, что все мы, художники, не уверенные, что мы действительно художники, но уверенные, что мы не есть что-то другое, день за днем ждем мгновенья, чтобы наконец согласиться жить.

Но раз речь идет о таком, возможно, тщетном ожидании, почему же именно теперь я решаюсь на эту публикацию? Прежде всего потому, что читатели смогли найти аргумент, который меня убедил[3 – Он прост: «Эта книга уже существует, но в ничтожно малом количестве экземпляров, которые стоят очень дорого. Почему только богатые имеют возможность ее читать?» И действительно, почему?]. И потом, в жизни художника всегда наступает пора, когда он должен определиться, приблизиться к собственному центру, чтобы затем попытаться там удержаться. Так обстоит дело сегодня, и мне нет необходимости говорить об этом еще. Если, несмотря на столько усилий, чтобы создать язык и оживить вымысел, мне не удастся однажды вновь написать «Изнанку и лицо» на ином уровне, я никогда ничего не достигну – таково мое пессимистическое убеждение. Во всяком случае, мне ничто не мешает мечтать, что я еще смогу поставить в центре этого произведения восхитительное молчание матери и усилия человека обрести справедливость или любовь, которая уравновесила бы это молчание. Вот человек, находящий в сновидении жизни свои истины и теряющий их на земле смерти, чтобы наконец вернуться сквозь войны, волки, безумие справедливости и любви, наконец, страдания к этой тихой отчизне, где сама смерть – лишь счастливое молчанье. И еще... да, ничто не мешает мечтать даже в период изгнания, ибо я знаю – и знаю твердо, – что всякое творчество есть не что иное, как долгое продвижение ради того, чтобы обрести с помощью обходных путей искусства два-три простых и великих образа, на которые когда-то впервые отозвалось сердце. Вероятно, поэтому после двадцати лет литературной работы я продолжаю жить с мыслью, что мое творчество еще и не началось. Эта мысль пришла ко мне в связи с данным переизданием, когда я вернулся к своим первым страницам. Именно ее я хотел бы напоследок отметить.

ИРОНИЯ

Два года назад я познакомился с одной пожилой женщиной. Она страдала болезнью, от которой, по ее мнению, должна была умереть. Правая сторона ее тела была парализована. Иначе говоря, только одна ее половина принадлежала ей, другая же была как бы чужой. Болтливая и вертлявая маленькая старушка оказалась обречена на молчание и неподвижность. Долгими днями она оставалась совершенно одна, неграмотная, маловосприимчивая, и вся ее жизнь свелась к Богу. В Бога она веровала. Доказательством тому служили ее четки, свинцовое распятье, выполненные под мрамор Святой Иосиф с Младенцем. Вообще-то она сомневалась, чтобы ее болезнь была так уж неизлечима, но настаивала на этом, чтобы ею заинтересовались, в

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org
остальном полагаясь на Бога, которого она еще недавно любила так нерадиво.

И вот однажды кто-то действительно ею заинтересовался. Это был некий молодой человек. (Он считал, что болезнь ее не смертельна, но понимал, что эта женщина скоро умрет, не пытаясь разрешить это противоречие.) Он проявил искреннее сочувствие к томящейся смертной тоской старухе. И она это мигом почувствовала. Это сочувствие было для нее неожиданной удачей. Она охотно рассказывала ему о своих страданиях: она уже одной ногой в могиле, пора уступить место молодым. Скучно ли ей? Конечно. Ведь с ней не разговаривали. Отвели ей свой угол, как собаке. Лучше уж с этим покончить. Потому что она предпочитает умереть, нежели быть для кого-нибудь обузой.

Голос ее стал сварливым. Это был голос рынка, торговых рядов. Однако молодой человек все понимал. И тем не менее он считал, что лучше быть для других обузой, чем умереть. Но это доказывало только одно: он наверняка никогда не был ни для кого обузой. Он говорил старухе – поскольку видел ее четки: «Вам остается уповать на Бога». Это была правда. Но даже тут ей досаждали. Если ей случалось долго молиться, и взгляд ее замирал на какой-нибудь завитушке обоев, ее дочь ворчала: «Ну вот, опять она молится! – А тебе-то что? – возмущалась больная. – Мне-то ничего, но в конце концов это действует на нервы». И старуха умолкала, устремляя на дочь долгий укоризненный взгляд.

Молодой человек слушал все это с новым для него безграничным огорчением, теснившим ему грудь. А старуха говорила: «Ничего, она все это поймет, когда сама постареет! Ей это тоже понадобится!»

Чувствовалось, что старуха освободилась от всего, кроме Бога, она полностью отдалась своему последнему недугу, добродетель ее диктовалась необходимостью, она слишком легко уверилась в том, что ей осталось единственное благо, достойное любви, и она безвозвратно погрузилась в муку пребывания человека в Боге. В конце концов, надежда неистребима, а Бог не станет противиться устремлениям человека.

Сели за стол. Молодой человек был приглашен к ужину. Старуха ничего не ела, потому что еда вечером тяжела для желудка. Она осталась в своем углу, за спиной своего недавнего собеседника. Молодой человек, чувствуя, что за ним наблюдают, ел скверно. Однако ужин подходил к концу. чтобы продлить общение, решили пойти в кино. Как раз шла довольно веселая кинолента. Молодой человек легкомысленно согласился, не подумав о той, что продолжала пребывать за его спиной.

Гости встали и отправились помыть руки перед выходом. Совершенно очевидно, и речи не могло быть, чтобы старуха пошла с ними. Даже если бы она и не была такой немощной, ее невежество помешало бы ей разобраться в фильме. Она говорила, что не любит кино. На самом деле она его просто не понимала. Она оставалась в своем углу, проявляя пустопорожний интерес к бусинкам своих четок. Но в них она вкладывала всю свою веру. Три предмета, хранимые ею, обозначали материальное начало божественного. За четками, распятием и Святым Иосифом раскрывалась великая тьма, в которую она устремляла всю свою надежду.

Все были готовы. Подходили к старухе, целовали ее и желали спокойной ночи. Она уже все поняла и лишь сжимала четки. Однако этот жест можно было воспринимать и как жест отчаяния, и как проявление религиозного рвения. Все ее уже поцеловали – остался только молодой человек. Он сердечно пожал старухе руку и уже было повернулся к дверям. Но она видела, что уходит тот, кто ей сочувствует. Ей не хотелось оставаться одной. Она уже испытывала ужас перед одиночеством, долгой бессонницей, печальным свиданием с Богом. Ей было страшно, она надеялась только на этого человека и, цепляясь за единственное существо, которое проявляло к ней интерес, она не выпускала его руку и все пожимала ее, неловко благодаря его, чтобы оправдать свою назойливость. Молодой человек был смущен. Остальные уже оборачивались, чтобы поторопить его. Сеанс начинался в девять, и надо было прийти чуть раньше, дабы потом не ждать у кассы.

Молодой человек чувствовал, что перед ним самое ужасное несчастье, с подобным которому он до сих пор не встречался: несчастье немощной старухи, которую близкие бросают ради того, чтобы пойти в кино. Он хотел побыстрее улепетнуть, он не хотел больше ничего знать, он попытался вырвать руку. Какой-то миг он испытывал слепую ненависть к этой старухе и едва сдержался, чтобы не отвесить ей оплеуху.

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

Наконец ему удалось высвободиться и скрыться, а больная между тем, полуприподнявшись на кресле, с ужасом глядела, как исчезает единственная достоверность, на которую она могла бы рассчитывать. Теперь ничто ее не защищало. Полностью погрузившись в мысли о своей смерти, она ясно не сознавала, что именно ее пугает, но точно знала, что не хочет остаться одна. Бог годился только для того, чтобы отделять ее от людей и погружать в одиночество. Она не хотела покидать общество людей. И от этой мысли она заплакала.

Все уже были на улице. Но угрызения совести неотступно терзали молодого человека. Он поднял глаза на освещенное окно, этот большой мертвый глаз в безмолвном доме. Глаз закрылся. Дочь больной старухи сказала молодому человеку: «Она всегда гасит свет, когда остается одна. Она любит сидеть в потемках».

Старик торжествовал, он хмурил брови, поучительно помахивая указательным пальцем. Он говорил: «Отец давал мне на целую неделю пять франков, чтобы я развлекался до следующей субботы. Так вот, я еще исхитрялся немножко сэкономить. Сначала, чтобы увидеться с невестой, я одолевал четыре километра по пустынному полю туда и четыре обратно. Да, да, уж поверьте моему слову, нынешняя молодежь разучилась веселиться». Они сидели за круглым столом: трое молодых людей и он, старик. Он рассказывал о своих скучных приключениях: безмерно преувеличены пустяки, трудности, которые он с честью преодолел. Он говорил без умолку, торопясь рассказать все прежде, чем его покинут, он вспоминал истории из своего прошлого, которые, как он считал, могут заинтересовать слушателей. Заставить себя слушать был его единственный порок: он будто бы не замечал насмешливых взглядов, не слышал грубых изdevok, которыми его осыпали. Для молодых он был докучным стариком, уверяющим, что в его времена все было отменно, он же считал себя уважаемым патриархом, чей опыт дорогостоящий стоит. Молодые не знают, что опыт – это поражение и что нужно все потерять, чтобы немного узнать жизнь. Старик немало выстрадал. Впрочем, об этом он не говорил: выгодней казаться счастливцем. А если он в этом и ошибался, то ошибся бы еще грубее, если бы рассчитывал кого-то растрогать своими бедами. Кого волнуют страдания какого-то старца, когда каждый полностью поглощен текущей жизнью? А он все говорил, говорил с наслаждением, сливаясь с пыльноцветным пейзажем своего глуховатого голоса. Но долго так продолжаться не могло. Его удовольствие предполагало концовку, а внимание слушателей ослабевало на глазах. Он уже никого не интересовал; он был просто стар. А молодые любили билльярд и карты, которые так отличаются от осточертевшей каждодневной работы.

Вскоре он остался один, несмотря на все усилия и ухищрения сделать свой рассказ более занимательным. Молодые бесцеремонно удалились. Снова он один. Не иметь слушателя: вот что ужасно, когда ты стар. Его приговаривали к молчанию и одиночеству. Ему давали понять, что он скоро умрет. А старый человек, который скоро умрет, бесполезен и даже тягостен и злонамерен. Пусть он уходит. А если уж остался, то пусть молчит: это пределуважения, на которое он мог рассчитывать. Но он страдает, потому что когда он молчит, он вспоминает о своей старости. И все-таки он встает и уходит, улыбаясь всем окружающим. Но он видит только безразличные лица, порой оживленные весельем, в котором он не имеет права участвовать. Один человек хочет: «Она старуха, не спорю, но бывает, что в старой-то кастрюле суп лучше получается». Другой, уж более серьезно: «Мы хоть и не богаты, но питаемся хорошо. Посмотри на моего внука – он ест больше своего отца. Тому хватает одного фунта хлеба, а внуку подавай целый килограмм! А еще и колбасу, и камамбер! Иногда, едва закончив, он попыхтит: „Ух! Ух!“ – и ест еще». Старик удаляется медленной походкой навьюченного мула, он долго бредет по тротуарам, запруженным людьми. Он скверно себя чувствует, ему не хочется идти домой. Обычно он все-таки любил снова сесть за свой стол, увидеть керосиновую лампу и тарелки, ко всему этому так привычно прикасалась его пальцы. Любил он и молчаливый ужин со старухой, которая сидела напротив и старательно пережевывала куски, без единой мысли в голове, с неподвижными и мертвыми глазами. Нет, нынче вечером он придет домой попозже. Ужин ему приготовлен, хоть и остыл, старуха может спокойно лечь спать, потому что она уже привыкла к его непредвиденным опозданиям. В таких случаях она говорила: «Опять он чудит», и все тут.

Сегодня он идет тихо и упорно. Он одинок и стар. В конце любой жизни старость переходит в отвращение к себе. Все кончается тем, что тебя перестают слушать. Он идет, поворачивает за угол какой-то улицы, спотыкается и почти падает. Я это вижу. Это смешно, но что поделаешь. Несмотря на все, он больше любит улицу, чем те часы, когда он уже дома и волнение заслоняет от него старуху и заточает его в

четырех стенах. Тогда порой дверь медленно отворяется и некоторое время остается полуоткрытой. Входит человек, одетый во что-то светлое. Он садится напротив старика и долго молчит. Он неподвижен, как и только что открывшаяся дверь. Время от времени он проводит рукой по волосам и тихо вздыхает. Он долго смотрит на старика все тем же тяжелым от грусти взглядом, а затем безмолвно удаляется. Резко звякает щеколда, и старик остается один, испуганный, с болезненным кисловатым страхом в животе. А на улице он никогда не бывает один, как бы мало людей ему ни повстречалось. Его волнение поет. Его маленькие шаги ускоряются: завтра все изменится, завтра. Но вдруг он осознает, что завтра будет таким же, и послезавтра, и все остальные дни. И это кошмарное открытие его сокрушает. Именно такие мысли и заставляют умирать. Из-за невозможности их вынести люди налагаются на себя руки, а если человек молод, то облекает их в слова.

Старый, безумный, пьяный, неизвестно какой. Но его конец будет достойным, всеми оплаканным, восхитительным. Он умрет в красоте, то есть в страдании. И это будет ему утешением. А впрочем, куда деваться: он стар навсегда. Люди, зная о грядущей старости, заранееpekутся о комфорте. Этой старости, фатально непоправимой, они хотят даровать праздность, которая в итоге сделает их совсем беззащитными. Они поглощены строительными работами, чтобы потом удалиться на свою маленькую виллу. Но углубившись в возраст, они осознают, что все это иллюзии. Лишь общество других людей дает им чувство защищенности. А этому старику нужно только одно: чтобы его слушали, иначе он не может поверить в свою прожитую жизнь. Вот улицы стали темнее и менее оживленными. Откуда-то еще слышатся голоса. В странном умиротворении вечера они звучат почти торжественно. За холмами, окружающими город, еще золотятся отблески дня. Неизвестно откуда идущий дым величественно вздымается за лесистыми гребнями. Он медленно поднимается и расслаивается, как пытка. Старик закрывает глаза. Перед жизнью, уносящей гул города и простодушную, безразличную улыбку неба, он остается совсем один, растерянный, нагой и уже бездыханный.

Стоит ли описывать оборотную сторону этой медали? Легко догадаться, что в грязной сумрачной комнате старуха накрывает на стол, что ужин уже готов, что она садится, смотрит на часы, некоторое время ждет, а затем начинает с аппетитом есть. Она думает: «Опять он чудит». Вот и все.

Они жили в пятером: бабка, ее младший сын, старшая дочь и двое ее детей. Сын был почти немым; болезненная дочь тут же соображала, из двоих детей один уже работал в страховой компании, а младший еще учился. В семьдесят лет бабка продолжала властствовать в этом мире. Над ее кроватью висел ее портрет, где она была на пять лет моложе, прямая, в черном платье, с медальоном на шее, без единой морщины, с огромными светлыми холодными глазами, и где у нее та королевская осанка, от которой она отказалась только с возрастом и которую порой еще считала нужным принимать на людях.

Этим светлым глазам ее внук был обязан воспоминанием, от которого до сих пор краснел. Бабка дожидалась, когда придут гости, и, строго на него глядя, спрашивала: «Кого ты любишь больше, мать или бабушку?» Игра осложнялась, когда присутствовала сама дочь. И во всех случаях мальчик отвечал: «Бабушку», ощущая при этом порыв любви к своей вечно молчащей матери. А если гости удивлялись такому ответу, мать говорила: «Просто его всегда воспитывала бабушка».

Таким образом, старуха считала, что любовь – это то, что можно требовать. Она исторгала из своего сознания доброй матери семейства некую непреклонность и нетерпимость. Она никогда не изменяла мужу и родила ему девять детей. После его смерти она энергично воспитывала свое семейство. Они переехали со своей фермы в предместье и попали в старый бедный квартал, где с тех пор и жили много лет.

Конечно, эта женщина была вполне добродетельна. Но для внуков, вошедших в возраст, которому свойственны резкие суждения, она была всего лишь домашней артисткой. От одного из своих дядей они знали показательную историю. Этот дядяшел навестить тещу и заметил, что она сидит у окна и ничего не делает. Но приняла она его с тряпкой в руке и извинилась за то, что будет продолжать работу, поскольку хозяйственные заботы занимают все ее время. И нужно признать, что так было и в остальном. С большой легкостью она падала в обморок на исходе семейного спора. Из-за болезни печени она также страдала сильными рвотами. Но она не помышляла ни о какой сдержанности в проявлении своей болезни и не думала уединяться, когда ее шумно рвало в мусорное ведро на кухне. Она возвращалась к

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

своим бледная, с глазами, полными слез от напряжения, а если ее умоляли лечь, она вспоминала, что ей еще надо кое-что приготовить и о том месте, которое она занимала в руководстве домом: «Здесь все делаю я». И еще: «Что с вами будет, когда меня не станет!»

Дети привыкли не обращать внимания на ее рвоты, на ее «приступы», как она говорила, на ее жалобы. Однажды она слегла и потребовала врача. Чтобы угодить ей, врача пригласили. В первый день он определил простое недомогание, во второй – рак печени, а в третий – запущенную желтуху. Но младший из детей упорно видел в этом лишь очередную комедию, еще более искусную симуляцию. Он нисколько не встревожился. Эта женщина столько его угнетала, что он не мог с ходу впасть в панику. В сугубой сдержанности и в отказе любить есть некая отчаянная храбрость. Впрочем, играя в болезнь, можно и в самом деле занемочь: бабка довела свое лицедейство до смерти. В последний день, окруженная детьми, она освобождалась от газов в кишечнике. Она запросто сказала внучку: «Видишь, пухаю, как поросенок». Час спустя она умерла.

Ее внуки – потом он хорошо это почувствовал – тогда ничего не понял в происходящем. Он не мог освободиться от мысли, что перед ним была сыграна последняя и самая чудовищная из всех симуляций этой женщины. Он искал в себе признаки горя, но не обнаруживал ни малейших. Только в день похорон из-за всеобщего пролития слез он заплакал, но тут же засомневался в своей искренности перед лицом смерти. Это было в прекрасный солнечный зимний день. В голубизне неба угадывалась прохлада, подернутая желтизной. Кладбище высилось над городом, и можно было видеть, как прекрасные сквозные солнечные лучи падали на бухту, дрожащую от света, как влажная губа.

Вы спросите, как все это совместить? Но истина неделима. Больная женщина, которую бросают, чтобы пойти в кино, старики, которого уже никто не желает выслушать, покойница, которая смертью своей ничего не искупает, а с другой стороны – весь свет мира, ослепительный свет, так что приходится принимать все. Речь идет о трех похожих и все-таки различных судьбах. Смерть равняет всех, хоть у каждого она своя. Но, в конце концов, солнце согревает кости нам всем.

МЕЖДУ ДА И НЕТ

Если и вправду есть только один рай – тот, который потерян, – я знаю, как назвать то неуловимое, нежное, нечеловеческое, что переполняет меня сегодня. Скиталец возвращается на родину. А я – я предаюсь воспоминаниям. Насмешка, упрямство – все смолкает, и вот я снова дома. Не стану твердить о счастье. Все гораздо проще и легче. Потому что среди часов, которые я возвращаю из глубины забвения, всего сохранней память о подлинном чувстве, об одном лишь миге, который не затеряется в вечности. Только это во мне настоящее, и я слишком поздно это понял. Мы любим гибкость движения, вид дерева, которое выросло как раз там, где надо. И чтобы воскресить эту любовь, довольно самой малости, будь то воздух комнаты, которую слишком долго не открывали, или знакомые шаги на дороге. Так и со мной. И если я тогда любил самозабвение, значит, был верен себе, ибо самим себе возвращает нас только любовь.

Медлительные, тихие и торжественные возвращаются ко мне эти часы и все так же захватывают, все так же волнуют, ибо это вечер, печальный час, и в небе, лишенном света, затаилось смутное желание. В каждом вспомнившемся движении я вновь открываю себя. Когда-то мне сказали: «Жить так трудно». И я помню, как это прозвучало. В другой раз кто-то прошептал: «Самая горькая ошибка – заставить человека страдать». Когда все кончено, жажда жизни иссякает. Быть может, это и зовут счастьем? Перебирая воспоминания, мы все их облекаем в одни и те же скромные одежды, и смерть предстает перед нами, как старая выцветшая декорация в глубине сцены. Мы возвращаемся к самим себе. Ощущаем всю меру своей скорби, и она становится нам милее. Да, быть может, грусть былых несчастий и есть счастье.

Таков и этот вечер. В мавританской кофейне, на краю арабского города, мне вспоминается не былое счастье, но некое странное чувство. Уже поздно. На стенах, среди пальм о пяти ветвях, канареечно-желтые львы гонятся за шейхами в зеленых одеяниях. В углу мигает акриловая лампа. Но комнату кое-как освещает открытая топка маленькой печки, выложенной зелеными и желтыми изразцами. Пламя освещает

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

середину комнаты, и я ощущаю на лице его отблески. Передо мною распахнутая дверь, и за нею – залив. В углу сидит на корточках хозяин и, кажется, смотрит на мой давно уже пустой стакан с листиком мяты на дне. В кофейне ни души, внизу шумят город, вдали виднеются огни над заливом. Мне слышно, как тяжело дышит араб, в сумраке поблескивают его глаза. Глухой далекий шум – верно, море? Нескончаемые мерные вздохи доносятся до меня – дыхание мира, непреходящее равнодушие и спокойствие того, что не умирает. От крупных алых бликов огня изгибаются львы на стенах. Становится прохладней. Над морем звучит сирена. Загораются огни маяка: зеленый, красный, белый. И не смолкает мощное дыхание мира. Из равнодушия рождается какая-то потаенная песнь. И вот я вновь на родине. Думаю о мальчишке, что жил в бедном квартале. Тот квартал, тот дом... Всего два этажа, и на лестнице темно. Еще и сейчас, после долгих лет, он мог бы вернуться туда среди ночи. Он знал, что взбежит по лестнице единным духом и ни разу не споткнется. Все его тело хранит на себе отпечаток того дома. Ноги в точности помнят высоту ступеней. И ладонь помнит невольный страх перед перилами, который так и не удалось одолеть. Потому что там водились тараканы.

Летними вечерами рабочие выходят на балкон. А у мальчишки было только крохотное оконце. Что ж, выносили из комнаты стулья и радовались вечеру, сидя перед домом. Тут была улица, рядом шла торговля мороженым, напротив – кофейни, с криком носилась от крыльца к крыльцу детвора. А главное, между огромными фикусами было небо. Бедность делает человека одиноким. Но одиночество это всему придает цену. Кто хоть на несколько ступеней поднялся к богатству, тот даже небо и ночь, полную звезд, принимает как нечто само собою разумеющееся. Но для стоящих внизу, у подножия лестницы, небо вновь обретает весь свой смысл: это благодать, которой нет цены. Летние ночи, таинство, пламенеющее звездами! За спиной мальчика тянулся зловонный коридор, на продавленном стуле не очень-то удобно было сидеть. Но, подняв глаза, он впивал чистоту ночи. Порой пробегал мимо большой быстрый трамвай. Где-то за углом затягивал песню пьяный, но и это не нарушало тишины.

И мать мальчика тоже всегда молчала. Иной раз ее спрашивали: «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», – отвечала она. И это была правда. Все тут, при ней, – о чем же думать? Ее жизнь, ее заботы, ее дети просто-напросто были при ней, а ведь того, что само собой разумеется, не ощущаешь. Она была слаба здоровьем, мысль ее работала трудно и медленно. Ее мать, женщина грубая, властная, вспыльчивая, все приносила в жертву неистовому самолюбию и с детства сломила слабую волю дочери. Выйдя замуж, дочь высвободилась было из-под ее власти, но, когда муж умер, покорно вернулась к матери. Умер он, как говорится, на поле чести. В золоченой рамке на самом виду висят его награды: крест «За боевые заслуги» и медаль. И еще из военного госпиталя вдове прислали найденный в его теле осколок гранаты. Вдова сохранила осколок. Она давно уже перестала горевать. Мужа она забыла, но еще говорит иногда об отце своих детей. Чтобы их вырастить, она работает и деньги отдает матери. А та воспитывает внуков ремнем. Когда она бьет слишком сильно, дочь говорит ей: «Только не бей по голове». Она их любит, ведь это ее дети. Любит всех одинаково и ни разу ничем не показала им своей любви. Случалось, в такой вот вечер, какие ему теперь вспоминаются, она вернется без сил с работы (она ходила по домам убирать) и не застанет ни души. Старуха ушла за покупками, дети еще в школе. Тогда она опустится на стул и смутным взглядом растерянно уставится на трещину в полу. Вокруг нее сгущается ночь, и во тьме немота ее полна безысходного уныния. В такие минуты, случись мальчику войти, он едва различит угловатый силуэт, худые, костлявые плечи и застынет на месте: ему страшно. Он уже начинает многое чувствовать. Он только-только начал сознавать, что существует. Но ему трудно плакать перед лицом этой немоты бессловесного животного. Он жалеет мать – значит ли это любить? Она никогда его не ласкала, она этого не умеет. И вот долгие минуты он стоит и смотрит на нее. Он чувствует себя посторонним и оттого понимает ее муку. Она его не слышит: она туга на ухо. Сейчас вернется старуха, и жизнь пойдет своим чередом: будет круг света от керосиновой лампы, kleenka на столе, крики, брань. А пока – тишина, значит, время остановилось, длится нескончаемое мгновение. Мальчику кажется – что-то встрепенулось внутри, какое-то смутное чувство, наверно, это любовь к матери. Что ж, так и надо, ведь, в конце концов, она ему мать.

А она ни о чем не думает. На улице светло, шумно; здесь тьма и тишина. Мальчик вырастет, поймет. Его растят и за это потребуют благодарности, как будто уберегли от боли. Мать всегда будет вот так же погружаться в молчание. Он будет расти среди боли. Главное – стать взрослым. Бабушка умрет, а потом и мать, и он сам.

Мать вздрогнула. Испугалась. Чего он на нее уставился как дурак? Пускай садится готовить уроки. Мальчик приготовил все уроки. Сегодня он сидит в какой-то дрянной кофейне. Теперь он – взрослый. Разве это не главное? Похоже, что нет, ведь, когда сделаешь все уроки и примеришься с тем, что ты уже взрослый, впереди остается только старость.

Араб все так же сидит на корточках в своем углу, взявшись руками за ступни. Снаружи, с террас, тянет запахом поджаренного кофе, доносятся оживленные молодые голоса. Еще гудит негромко и ласково буксирный пароходик. Жизнь замирает, как всегда по вечерам, и от всех безмерных мучений остается лишь обещание покоя. Странная мать, такая равнодушная! Только безграничное одиночество, переполняющее мир, помогает мне постичь меру этого равнодушия. Однажды сына, уже взрослого, вызвали к матери. Внезапный испуг кончился для нее кровоизлиянием в мозг. Она привыкла по вечерам выходить на балкон. Садилась на стул, приникала губами к холодным ржавым железным перилам. И смотрела на прохожих. За спиной у нее понемногу сгущалась тьма. Перед нею вдруг вспыхивали витрины. Улицу заполняли огни и люди. И мать погружалась в бесцельное созерцание. В тот вечер, о котором идет речь, сзади появился неизвестный человек, набросился на нее, избил и, засывав шум, скрылся. Она ничего не видела, потеряла сознание. Когда примчался сын, она была в постели. Врач посоветовал не оставлять ее на ночь одну. Сын прилег подле нее на кровати, поверх одеяла. Было лето. Жаркая комната еще дышала ужасом недавно разыгравшейся драмы. За стеной слышались шаги, скрип дверей. В духоте держался запах уксуса, которым обтирали больную. Она и сейчас беспокойно металась, стонала, порой вздрагивала всем телом. И сын, едва успев задремать, просыпался весь в поту, настороженно приглядывался к ней, потом бросал взгляд на часы, на которых плясал трижды отраженный огонек ночника, и вновь погружался в тяжелую дремоту. Лишь позднее он постиг, до чего одиноки были они в ту ночь. Одни против всех. «другие» спали в этот час, когда их обоих сжигала лихорадка. Старый дом казался пустым, нежилым. Прошли полуночные трамваи, и с ними иссыкли все надежды, какие пробуждают в нас люди, пропала уверенность, которую приносят нам городские шумы. В доме еще отдавалось эхо прогремевшего мимо вагона, потом все угасло. И остался лишь огромный сад безмолвия, где порою прорастали пугливы стоны больной. Никогда еще сын не чувствовал себя таким потерянным. Мир истаял, а с ним и обманная надежда, будто жизнь каждый день начинается съзнова. Ничего больше не существовало – ни занятий, ни честолюбивых замыслов, излюбленных блюд в ресторане, любимых красок. Остались только болезнь и смерть, и они затягивали его... И, однако, в тот самый час, когда рушился мир, он жил. И даже в конце концов уснул. Но все же в нем запечатлелся надрывающий душу, полный нежности образ этого одиночества вдвоем. Позже, много позже, вспомнится ему смешанный запах пота и уксуса, вспомнятся минуты, когда он ощущал узы, соединяющие его с матерью. Словно безмерная жалость, переполнявшая его сердце, излилась наружу, обрела плоть и, ничуть не считая себя самозванкой, добросовестно играла роль полуницей старой женщины с горькой судьбой.

Уголья в очаге уже подернулись пеплом. И все так же дышит земля. Где-то рассыпает переливатую трель дербuka[4 - Арабский музыкальный инструмент, подобие барабана.]. С ней сливается смеющийся женский голос. По заливу приближаются огни – наверно, возвращаются в гавань рыбачьи лодки. Треугольник неба, который виден мне с моего места, стряхнул с себя дневные облачка. Полный звезд, он трепещет под чистым дуновением, и меня овеивают медленными взмахами бесшумные крылья ночи. Куда придет эта ночь, в которой я больше не принадлежу себе? Есть нечто опасное в слове «простота». И сегодня ночью я понимаю: в иные минуты хочется умереть, потому что видишь жизнь насквозь – и тогда все теряет значение и смысл. Человек страдает, на него обрушивается несчастье за несчастьем. Он все выносит, свыкается со своей участью. Его уважают. А потом однажды вечером оказывается – ничего не осталось; человек встретил друга, когда-то близкого и любимого. Тот говорит с ним рассеянно. Возвратясь домой, человек кончает самоубийством. Потом говорят о тайном горе, о душевной драме. Нет. Если уж необходимо доискиваться причины, он покончил с собой потому, что друг говорил с ним рассеянно. И вот, всякий раз, как мне кажется, что я постиг мир до самых глубин, он меня потрясает своей простотой. Вспоминается мама, тот вечер и ее странное равнодушие. Или другой случай: я жил на даче в предместье, со мной были только собака, две кошки и их котята, все черные. Кошка не могла их кормить. Котята умирали один за другим. Они наполняли ящик пометом. И каждый вечер, возвращаясь домой, я обнаруживал еще один окоченелый, оскаленный трупик. Однажды вечером я нашел последнего – мать наполовину сожрала его. От него уже пахло. Несло мертвениной и мочой. Тогда я сел на пол и среди всей этой мерзости,

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

с перепачканными руками, дыша запахом разложения, долго смотрел в зеленые, горящие безумием глаза кошки, оцепеневшей в углу. Да. Вот так было и в тот вечер. Что-то утратишь, и уже ни в чем нет связи и толку, надежда и безнадежность кажутся одинаково бессмысленными, и вся жизнь воплощается в единственном образе. Но почему бы не пойти дальше? Все просто, все очень просто при свете маяка — зеленый огонь, красный, белый; все просто в ночной прохладе, в долетающих до меня запахах города и нищеты. Если в этот вечер ко мне возвращаются образы детства, как же не принять урок, который они дают, урок любви и бедности? Этот час — как бы затишье между да и нет, а потому я отложу на другие часы и надежду, и отвращение к жизни. Да, надо только принять прозрачную ясность и простоту потерянного рая, заключенную в одном лишь образе. И вот, не так уж давно, в один дом в старом квартале пришел сын навестить мать. Они молча сидят друг против друга. Но взгляды их встречаются.

- Ну как, мама?
- Да так, ничего.
- Тебе скучно? Я мало говорю?
- Ну, ты всегда мало говорил.

И прекрасная улыбка освещает ее лицо, почти не трогая губ. Да, правда, он никогда-с нею не разговаривал. Но, в сущности, что нужны говорить? В молчании все проясняется. Он ей сын, она его мать. Она может просто сказать ему: «Знаешь...»

Она сидит на краешке дивана, ступни плотно сдвинуты, руки сложены на коленях. Он — на стуле, почти не смотрит на нее, курит без передышки. Молчание.

- Напрасно ты так много куришь.
- Да, верно.

В окно вливается все, чем дышит улица. Сышен аккордеон из соседней кофейни, шумы уличного движения, нарастающие к вечеру; пахнет жареным мясом — кусочки его, прямо с вертела, едят, зажав между маленькими упругими лепешками; где-то плачет ребенок. Мать поднимается, берет вязанье. У нее неловкие пальцы, изуродованные артритом. Она вяжет медленно, по три раза принимается за одну и ту же петлю или распускает весь ряд; чуть слышно глухое шуршанье.

— Это кофточка. Буду носить с белым воротничком. Еще есть черное пальто, вот я и одета на зиму.

Она опять встает, зажигает свет.

— Нынче темнеет рано.

Да, верно. Уже не лето, но еще не осень. В ласковом небе еще носятся с криком стрижи.

- Ты скоро вернешься?
- Да ведь я еще не уехал. Почему ты спрашиваешь?
- Просто так, надо же что-то сказать.

Проходит трамвай. Автомобиль.

— Правда, что я похож на отца?

— А как же, вылитый отец. Понятно, ты его не знал. Тебе полгода было, когда он умер. Вот если бы тебе еще усики!

Об отце он говорит неуверенно. Никаких воспоминаний, никакого волнения. Уж, конечно, самый обыкновенный человек. Впрочем, воевать он пошел с восторгом. На Марне ему раскроило череп. Он ослеп, мучительно умирал целую неделю, имя его в его родном округе выбито на обелиске в память павших.

– Вообще-то так лучше, – говорит мать. – Вернулся бы он слепой, а может, помешанный. Что уж тогда бедняге...

– Да, верно.

Что же удерживает сына в этой комнате, если не уверенность, что всегда все к лучшему, не ощущение, что в этих стенах укрылась вся абсурдная, бессмысленная простота мира.

– Ты еще приедешь? – спрашивает мать. – Я знаю, у тебя работа. Но хоть кой-когда...

Так о чем это я сейчас? И как отделить нынешнюю пустую кофейню от той комнаты из прошлого? Я уже сам не знаю, живу ли или только вспоминаю. Вот они, огни маяка. И араб, хозяин кофейни, встает передо мной и говорит, что пора закрывать. Надо идти. Не хочу больше спускаться по этому опасному склону. Правда, я смотрю вниз на залив и его огни в последний раз, и его дыхание приносит мне не надежду на лучшие дни, а спокойное, первобытное равнодушие ко всему на свете и к самому себе. Но надо прервать этот слишком плавный, слишком легкий спуск. И мне необходима ясность мысли. Да, все просто. Люди сами все усложняют. Пусть нам не рассказывают сказки. Пусть не изрекают о приговоренном к смертной казни: «Он заплатит свой долг обществу», а скажут просто: «Ему отрубят голову». Кажется, пустяк. Но все-таки не совсем одно и то же. И потом, есть люди, которые предпочитают смотреть своей судьбе прямо в глаза.

СО СМЕРТЬЮ В ДУШЕ

Я приехал в Прагу в шесть часов вечера. Сразу же отнес вещи в камеру хранения. На поиски гостиницы в моем распоряжении было еще два часа. Меня переполняло странное чувство свободы, тем более, что два чемодана больше не оттягивали мне руки. Я вышел из вокзала, зашагал мимо садов и вдруг очутился прямо на проспекте Венцеслава, в это время дня кишащем людьми. Вокруг меня роились мириады существ, живших вдали от меня, о существовании которых я доселе ничего не знал. А меж тем они существовали. Я был в тысяче километров от родной страны. Их языка я не понимал. Все шли быстро. Обгоняли меня, опережали. Я растерялся.

У меня было совсем мало денег. Как раз на шесть дней. Впрочем, на седьмой ко мне должны были присоединиться друзья. Меня беспокоило и это. Итак, я приступил к поискам какой-нибудь скромной гостиницы. Я находился в новой части города, и все, что представляло передо мной, вспыхивало огнями, смехом и женщинами. Я пошел быстрее. В моей поспешной прогулке было что-то от бегства. Однако к восьми часам, порядком устав, я достиг старого города. Там меня прельстила скромного вида гостиница с крохотным подъездом. Вхожу. Заполняю карточку, беру ключ. Мне достается номер 34, на четвертом этаже. Открываю дверь и оказываюсь в роскошнейшей комнате. Ищу указатель цены: она в два раза выше, чем я рассчитывал. Денежный вопрос становится насущным. В этом большом городе я могу жить только скромно. Беспокойство, еще недавно смутное, принимает определенный характер. Мне становится не по себе. Я чувствую себя полым, опустошенным. Однако тут же припоминаю: мне постоянно – справедливо или нет – приписывали полное безразличие к денежным вопросам. Откуда же эта дурацкая болезнь? Но рассудок мой уже работает: необходимо поесть, нужно снова идти и отыскать какой-нибудь скромный ресторан. На каждую трапезу я должен тратить не более десяти крон. Из всех ресторанов, которые я увидел, наименее дорогой выглядел и наименее уютным. Слоняюсь у ресторана. Там в конце концов встревожились моими маневрами: необходимо войти. Это довольно темный погребок, расписанный безвкусными фресками. Публика довольно пестрая. В углу несколько девиц курят и степенно переговариваются. Мужчины едят, в большинстве они лишены возрастных признаков и какого бы то ни было своеобразия. Кельнер, гигант в засаленном смокинге, наклоняет ко мне огромное бесстрастное лицо. Быстро, наугад, тычу пальцем в непонятном для меня меню в какое-то блюдо. Но похоже, требуется пояснение. Кельнер о чем-то спрашивает меня по-чешски. Я отвечаю на своем скучном немецком. Но он не знает немецкого. Я нервничаю. Он подзывает одну из девиц, которая подходит с классическим видом – левая рука на бедре, сигарета в правой, на губах – слюнявая улыбочка. Она садится за мой столик и заговаривает со мной на немецком, столь же скверном, как и мой. Все проясняется: кельнер хочет мне

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

навязать дежурное блюдо. Будучи хорошим игроком, я соглашаюсь. Девица говорит со мной, но я больше ничего не понимаю. Естественно, я говорю «да» с самым проникновенным видом. Но я отсутствую. Все меня здесь раздражает, я в растерянности, мне уже не хочется есть. Я постоянно ощущаю какое-то покалывание, желудок мой стиснут. Заказываю кружку пива, так как знаю свои привычки. Приносят фирменное блюдо, я ем: это какая-то смесь манной каши и мяса, отвратительная из-за избытка тмина. Но я думаю о другом, скорее всего ни о чем, глядя на растянутые в улыбке толстые губы девки, сидящей напротив. Она надеется на приглашение? Она уже рядом со мной, прижимается. Я машинально отстраняю ее. (Она была некрасива. Я потом часто думал, что будь девица покрасивей, я избежал бы всего того, что за этим последовало.) Я боялся занемочь среди этих людей, готовых расхочтаться. Но еще больше я боялся оказаться один в гостиничном номере, без денег и без желания, оставаться наедине с собой и своими никчемными мыслями. До сих пор я в недоумении: как диковатый и робкий человек, каким я тогда был, смог себя преодолеть? Я ушел из ресторана. Я брел по старому городу, чувствуя, что не могу больше переносить себя; я заторопился в свою гостиницу, сразу улегся, и сон пришел почти мгновенно.

Каждая страна, где я не скучаю, – это страна, которая ничему меня не учит. Именно с помощью таких фраз пытался я собраться с силами. Но смогу ли я описать дни, которые затем последовали? Я питался в том же ресторане. Утром и вечером я подвергал себя пытке ужасным варевом с тмином, которое вызывало у меня отвращение. Весь день меня постоянно чуть ли не рвало от этого. Но я изо всех сил противился, зная, что нужно хоть чем-то питаться. Впрочем, это был пустяк по сравнению с тем, что наверняка пришлось бы вынести, переменив ресторан. Здесь, по крайней мере, я был «своим». Если со мной и не разговаривали, то хотя бы улыбались. С другой стороны, моя тревога нарастала. Меня слишком терзала эта острые боль, засевшая в моем мозгу. Я решил упорядочить свой режим, снова найти в нем точку опоры. Я как можно дольше оставался в постели, и мой день настолько же укорачивался. Затем я приводил себя в порядок и методично изучал город. Я слонялся по пышным барочным храмам, пытаясь обрести в них отчизну, но выходил оттуда еще более опустошенным и отчаявшимся от этого малоприятного свидания с самим собой. Я бродил вдоль Влтавы, перерезанной бурлящими плотинами. Проводил долгие часы в огромном квартале Градчаны, пустынном и безмолвном. В тени его собора и его дворцов, в час заката, мои одинокие шаги гулко звучали на улицах. И, замечая это, я впадал в панику. Я рано ужинал и ложился спать в половине девятого. Солнце отрывало меня от самого себя. Церкви, дворцы, музеи – я старался унять свою тревогу, созерцая бесчисленные произведения искусства. Классический прием: я старался растрескать свой бунт в меланхолии. Но тщетно. Как только я выходил, я становился чужим всем и всему. Но однажды, в одном барочном окраинном монастыре, в ласке угасающего дня, в медленном колокольном звоне, под грозьями голубей, взлетающих со старой башни, в чем-то подобном запаху трав и небытия, во мне зародилась тишина, напитанная слезами, которая поставила меня на грань избавления от мук. И, вернувшись вечером в свой номер, я одним духом написал, а теперь скрупулезно переписываю то, что следует дальше, ибо я нахожу в самой высеннности всего этого сложность моих тогдашних чувств: «А собственно, какую еще пользу можно извлечь из путешествия? Вот он я без всяких прикрас. Город, вывески на улицах которого я не могу прочесть, странные буквы, с которыми не связано ничего привычного, здесь нет друзей, с которыми можно было бы поговорить, наконец, нет развлечений. Ничто не может извлечь меня из этой комнаты, куда проникает шум чужого города, ничто не приведет меня к добруму свету очага или какого-то излюбленного места. А что, если позвать кого-нибудь, закричать? Но и тогда появятся чужие лица. Церкви, золото и ладан – все отбрасывает меня в обыденную жизнь, где моя тревога оценивает каждую вещь. И вот занавес привычек при комфортабельном распорядке жестов и слов, когда сердце погружается в дремоту, медленно приподымается и обнажает бледный лик отчаяния. Человек оказывается наедине с самим собой: я бросаю ему вызов – будь счастлив... Но именно так путешествие его просвещает. Между ним и вещами возникает огромная дисгармония. В размягченное сердце свободнее входит музыка мира. Наконец, в этом великом самолищении крохотное одинокое деревце становится самым нежным и самым хрупким из образов. Произведения искусства и улыбки женщин, поколения людей, вросших в свою землю, памятники, которые подводят итог векам, – все это волнующий и проникновенный пейзаж, создаваемый путешествием. И потом, в конце дня, этот гостиничный номер, где что-то снова зияет во мне, как голод души». Может быть, все это только ради того, чтобы уснуть? Но теперь я могу сказать откровенно: все, что во мне осталось от Праги, это запах маринованных огурцов, которые продаются на каждом углу, огурцов, рассчитанных на то, чтобы их съели на ходу; их терпкий пикантный аромат пробуждал во мне тревогу и усиливал ее, как

только я переступал порог гостиницы. От Праги остался этот запах и, возможно, еще одна мелодия, которую исполнял на аккордеоне под моими окнами однорукий слепой; сидя на своем инструменте, он прижимал его ягодицей и играл, пользуясь единственной рукой. Это была всегда одна и та же детская и нежная мелодия, которая будила меня по утрам и внезапно вышвыривала в реальность без каких бы то ни было прикрас, в которой я барабанялся как мог.

А еще вспоминается, как я вдруг останавливался на берегу Влтавы и, захваченный этим запахом или этой мелодией, заброшенной в душу, спрашивал себя: «Что это означает? Что это означает?» Но я, конечно, еще не достиг пределов понимания. На четвертый день утром, около десяти часов, я готовился выйти в город. Я хотел посмотреть одно еврейское кладбище, которого не смог найти накануне. В дверь соседнего номера постучали. Никто не ответил, и в дверь постучали снова, на сей раз более настойчиво, но, по-видимому, безрезультатно. Кто-то тяжелой поступью спустился по лестнице. Не придав этому значения, я бездумно потерял некоторое время на чтение инструкции к крему для бритья, которым, впрочем, я пользовался уже месяц. День был тяжелый. С облачного неба на шпили колоколен и соборов древней Праги спускался металлический свет. Продавцы газет, как и каждое утро, выкрикивали «Народную политику». Я с трудом вырвался из охватившего меня оцепенения. Но когда я уходил, то встретил коридорного с ключами. Я остановился. Он снова долго стучал в дверь, затем попытался ее открыть. Ничего не вышло. Видимо, была задвинута внутренняя щеколда. Снова стук в дверь. Комната издавала гулкий и столь зловещий звук, что я, не желая ни о чем спрашивать, ушел совершенно удрученный. Но на улицах Праги мной неотступно завладело тягостное предчувствие. Перед глазами стояло глуповатое лицо коридорного, его лаковые туфли, странным образом загнутые, и недостающая на куртке пуговица. Я позавтракал с нарастающим отвращением, а к двум часам вернулся в гостиницу.

В вестибюле шептался персонал. Я быстро поднялся по лестницам, чтобы побыстрей оказаться перед тем, чего ожидал. Так оно и случилось. Дверь номера была полуоткрыта так, что виднелась только выкрашенная в голубой цвет стена. Но глухой свет, о котором я говорил выше, отбрасывал на этот экран тень лежащего на кровати покойника и тень полицейского, дежурившего у тела. Тени образовывали прямой угол. Этот свет меня потряс. Он был подлинным, настоящим светом жизни, светом послеполуденным, который убеждает тебя в том, что ты живешь. Но тот человек умер. Один в номере. Мне было понятно, что это не самоубийство. Я поспешил вошел в свой номер и бросился на кровать. Человек как человек, маленький и тучный, если судить по тени. Без сомнения, он умер уже давно. А жизнь в гостинице продолжалась, пока коридорному не пришло в голову постучать к нему. Он приехал сюда, ничего не предвидя, и умер в одиночестве. А я в это время читал инструкцию к крему для бритья. Все время после полудня я провел в состоянии, которое навряд ли смог бы описать. Я лежал без единой мысли в голове и со странно скавшимся сердцем. Я подпиливал ногти, считал бороздки паркета. «Если досчитаю до тысячи...» На пятидесяти или шестидесяти я осекся. Дальше я считать не мог. Снаружи не было слышно никаких шумов. Однако один раз в коридоре чей-то приглушенный голос, женский голос, произнес по-немецки: «Он был таким добрым». Тогда я с тоской подумал о своем городе на берегу Средиземного моря, о летних вечерах, которые я так люблю, таких ласковых в зеленом свете и населенных молодыми и красивыми женщинами. Уже много дней как я не произнес ни слова, и мое сердце разрывалось от всплеск и сдержанного бунта. Я разревелся бы, как ребенок, если бы кто-нибудь раскрыл мне объятья. К вечеру, с пустой головой, изнемогая от усталости, я неотступно смотрел на щеколду двери и твердил народную мелодию аккордеона. В тот момент я чувствовал, что уперся в тупик. Нет больше ни страны, ни города, ни комнаты, ни наименований: безумие или победа, унижение или вдохновение, узнаю ли я, на чем себя исчерпаю? В дверь постучали, вошли мои друзья. Я был спасен, даже если и не окончательно. Кажется, я сказал: «Рад вас видеть». Но я уверен, что на этом мои признания пресеклись и что в глазах тех друзей я остался таким же человеком, с каким они расстались.

Вскоре я уехал из Праги. И, конечно, заинтересовался тем, что потом увидел. Я мог бы отметить некий час на маленьком готическом кладбище Баутзена, пылающий багрянец его гераней и лазурное утро. Я мог бы говорить о протяжных долинах Силезии, бесчувственных и бесплодных. Я их пересек на рассвете. Тяжелый косяк птиц летел в туманном и густом утре над вязкими землями. Я полюбил также нежную и степенную Моравию, ее чистые дали, ее дороги, окаймленные сливовыми деревьями с кисловатыми плодами. Но в глубине души я хранил ошеломление тех, кто заглянул в бездонную расщелину. Я прибыл в Вену и уехал оттуда к концу недели, все время

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org
оставаясь пленником самого себя.

Однако в поезде, который вез меня из Вены в Венецию, я чего-то ждал. Я был как выздоравливающий, которого поили бульоном и который мечтает о первой корке хлеба, которую съест. Зарождался некий свет. Теперь я это осознаю: я был готов для счастья. Расскажу только о первых шести днях, которые я прожил на холме рядом с Виченцей. Я еще там, или скорее я иногда вновь представляю себя там, и часто все это возвращается, окутанное благоуханием розмарина.

Я въезжаю в Италию. Земля, созданная для моей души, один задругам я узнаю признаки ее приближения. Первые дома с чешуйчатыми крышами из черепицы, первые виноградники у стены, голубой от купороса. Первые веревки, протянутые во дворах, беспорядок предметов, безалаберность людей. И первый кипарис (такой хрупкий и тем не менее такой прямой), первое оливковое дерево и пыльное фиговое дерево. Площади итальянских городков, полные теней, полуденные часы, когда голуби ищут убежища, медлительность и нега, здесь душа истощает свой бунт. Страсть постепенно приводит к слезам. А вот и Виченца. Здесь дни вертятся вокруг своей оси, начиная с пробуждения, наполненного куриным кудахтаньем, до несравненного вечера, сладковатого и нежного, шелковистого за кипарисами и долго сопровождаемого стрекотом цикад. Меня сопровождает внутренняя тишина, порождаемая медленным течением, которое влечит один день вслед за другим. Чего же еще желать, кроме этой комнаты, выходящей окнами на долину, комнаты со старинной мебелью и вязанными крючком кружевами. Все небо у меня на лице, и кажется, что я беспрерывно мог бы следовать за этим кружением дней, неподвижный, вращающийся вместе с ними. Я вдыхаю единственное счастье, на которое способен – внимательное и дружелюбное осознание. Весь день я гуляю: с холма спускаюсь к Виченце или же иду вперед до деревни. Каждое встреченное мною живое существо, каждый запах этой улицы – все служит мне предлогом для безмерной любви. Молодые женщины, работающие в детском лагере, рожки продавцов мороженого (их тележка – это гондола на колесах с носилками), лотки с фруктами, алые арбузы с черными семечками, липкий полупрозрачный виноград – столько поддержки для того, кто больше не умеет быть один[5 – То есть для всех. – Прим. автора.]. Но нежная и пронзительная флейта цикад, аромат воды и звезд, который случается в сентябрьские ночи, благоухающие дороги среди мастиковых деревьев и тростников – столько знаков любви для тех, кто вынужден быть один[6 – См. предыдущее примечание. – Прим. автора.]. Так проходят дни. После ослепления солнечных часов наступает вечер в пышном декоре из золота вечерних зорь и черноты кипарисов. Тогда я иду на дорогу к цикадам, голоса которых слышны издалека. По мере того, как я приближаюсь, они одна за другой начинают настороженно верещать, затем умолкают. Я медленно иду вперед, задавленный таким изобилием жгучей красоты. За моей спиной цикады одна за другой повышают голос, потом запевают все вместе: есть тайна в этом небе, откуда исходят равнодушие и красота. И в последних лучах солнца я читаю на фронтоне какой-то виллы: *In magnificentia naturae resurgit spiritus*[7 – В великолепии природы обновляется дух.]. Вот здесь нужно остановиться. Появилась уже первая звезда, затем три огонька на холме напротив, внезапно наступает ночь, которую ничто не предвещало, шепот и легкий ветерок в кустах сзади меня – и день убежал, оставив мне всю свою сладость.

Безусловно, я не изменился. Просто я больше не один. В Праге я задыхался среди стен. Здесь я стоял перед миром и, множась вокруг себя, заселял вселенную формами, похожими на меня самого. Но я еще не сказал о солнце. Я долго пытался понять свою привязанность и любовь к миру нищеты, где прошло мое детство, но только сейчас я вижу уроки страны и солнца, которые осеняли мое рождение. Незадолго до полудня я выходил и направлялся к хорошо знакомому месту, возвышавшемуся над огромной долиной Виченцы. Солнце было почти в зените, небо темно-голубое и невесомое. Весь свет, идущий с него, спускался по склону холмов, окутывал кипарисы и оливковые деревья, белые дома и красные крыши самым горячим из одеяний, а затем терялся в дымящейся от солнца долине. И каждый раз одна и га же горечь. Во мне возникала горизонтальная тень маленького тучного человека. И в этих долинах, кружящихся на солнце и в пыли, на этих сбитых и покрытых коркой выжженной травы холмах, все, чего я касался пальцем, было нагой непривлекательной формой с привкусом небытия, которую я продолжал носить в себе. Эта страна вела меня к моему собственному сердцу и ставила перед моей затаенной тревогой. Это была тревога Праги и в то же время не она. Как это объяснить? Конечно, перед этой итальянской долиной, наполненной деревьями, солнцем и улыбками, я лучше улавливал запах смерти и бесчеловечности, уже с месяцем преследовавший меня. Да, эта бесслезная горечь, этот безрадостный покой, переполнявший меня – все это происходило только от четкого сознания того, что

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

было не по мне: от отречения и равнодушия. Подобно этому, обреченный на смерть и знающий об этом не интересуется судьбой своей жены – разве что в романах. Он осуществляет призвание человека, который является законченным эгоистом, а значит человеком отчаявшимся. Для меня в этой стране нет никакой надежды на бессмертие. А что для меня значит снова воскресить в душе Виченцу, не имея глаз, чтобы ее видеть, рук, чтобы притронуться к ее винограду, кожи, чтобы почувствовать ласку ночи на дороге от Монте-Берико до виллы Вальмарана?

да, все это правда. Но в то же время солнцем в меня входило нечто, что мне трудно определить. На этом крайнем острье крайнего сознания все соединялось, и собственная жизнь казалась мне глыбой, которую нужно отбросить или принять. Мне необходимо было величие. Я находил его в противоборстве моего великого отчаяния и тайного безразличия одного из самых прекрасных пейзажей на свете. В нем я черпал силу быть одновременно мужественным и сознающим. Мне хватало столь трудной и парадоксальной коллизии. Но, быть может, я уже преодолел кое-что из того, что тогда так верно чувствовал. Впрочем, я часто мысленно возвращаюсь к тем тягостным дням, которые пережил в Праге. Я давно вернулся в свой город. Но иногда острый запах огурцов и уксуса пробуждает мою былую тревогу. Тогда мне необходимо думать о Виченце. Но мне дброги оба города, и я плохо отличаю свою любовь к свету и жизни от своей тайной привязанности к печальному испытанию, которое я решился описать. Вы это уже поняли, а я не хочу выбирать. В предместье Алжира есть маленько кладбище с чугунными воротами. Если идти до конца, то увидишь лощину с изгородью в глубине. Можно долго мечтать перед этим даром, вздыхающим вместе с морем. Но когда возвращаешься, на заброшенной могиле видишь плиту с надписью «Вечная скорбь». К счастью, чтобы гармонизировать такие противоречия, существуют идеалисты.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Ночью в Пальме жизнь мало-помалу оттекает в квартал кафе-шантанов, за рынок: улицы гам черные и молчаливые, пока не упрещься в решетчатые двери, откуда просачиваются свет и музыка. Мне довелось провести почти всю ночь в одном из таких заведений. Крохотный зал, очень низкий, квадратный, выкрашенный в зеленый цвет и увешанный розовыми гирляндами. Дощатый потолок усеян миниатюрными красными лампочками. В этом тесном закутке каким-то чудом умещались оркестрик, бар с разноцветными бутылками и публика, сидевшая так тесно, что хоть подыхай. Сплошь одни мужчины. В середине оставалось два свободных квадратных метра. Повсюду были стаканы и бутылки, рассыпаемые официантом по всем четырем углам зала. И не было ни единого человека в своем уме. Все вопили и горланили. Какой-то вроде бы морской офицер отрыгивал мне прямо в лицо пьяные любезности. Карлик неопределенного возраста, мой сосед по столику, распинался о своей жизни. Но я был слишком напряжен и не слушал его. Оркестрик без передышки наяривал мелодии, от которых оставался только ритм, потому что его отбивали ногами все посетители. Время от времени распахивалась дверь, и горлодерам приходилось потесниться, чтобы дать вновь прибывшему место между двумя стульями[8 – Известная непринужденность во время веселья – признак истинной цивилизации. Испанцы же – один из немногих цивилизованных народов Европы.].

Внезапно грохнули медные тарелки и в тесный прогал посреди кабачка выскочила женщина. «Ей двадцать один год», – сообщил мне офицер. Я оторопел. Юное девическое лицо, прилепленное к горе мяса. Росту в ней было, наверное, метр восемьдесят, а весила эта туша не меньше ста двадцати килограммов. Она стояла подбоченившись, закутанная в желтую сеть, сквозь ячейки которой выпирали квадратики белой плоти, стояла и улыбалась; от обоих уголков рта к ушам струилась мелкая телесная зыбь. Восторгу зала не было границ. Видно было, что девицу здесь знают, любят, ждут. А она все улыбалась. Обвела публику взглядом и, не переставая улыбаться, принялась колыхать пузом. Зал взывал от восхищения, потом потребовал песенку, вроде бы всем знакомую. То был гнусавый андалузский напев, на каждые три такта сопровождаемый глухим звяканьем ударных. Она пела и при каждом ударе содрогалась всей тушей, изображая любовную сцену. Эта монотонные и страстные извины порождали новую череду телесных волн, струившихся от ляжек к плечам. Зал прямо-таки тонул в них. Когда дошла очередь до припева, девица крутанулась на месте, стиснула груди ладонями и, разинув накрашенный влажный рот, принялась выкрикивать припев вместе с залом, пока все шумно не повскакали с мест.

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

Всей своей неохватной тушей высилась она в середине кабаре, мокрая от пота, растрепанная, вздувшаяся в желтой сети. Похожая на вылезшую из воды поганую богиню с низким безмозглым лбом и запавшими глазами, она не подавала иных признаков жизни, кроме мелкой дрожи в коленке, – такая дрожь иногда бьет загнанную лошадь. В окружении публики, топающей ногами от восторга, с отчаяньем в пустых глазах и густыми потеками пота на животе, она казалась мерзким и неотразимым воплощением самой жизни...

Трудно было бы путешествовать, не будь на свете кафе и газет. Листок с текстом на понятном тебе языке, местечко, где можно потолкаться среди людей, помогают нам посредством привычного жеста ощутить себя тем, кем мы были дома и кто теперь, на расстоянии, кажется совсем незнакомым. Ибо плата за путешествие – страх. Он разрушает в нас то, что можно назвать внутренними декорациями. Становится невозможно плутовать – прикрываться маской часов, проведенных в kontore или на стройке, тех самых часов, что кажутся такими нудными, а на самом деле как нельзя лучше оберегают от мук одиночества. Потому-то я мечтаю написать романы, герои которых говорили бы: «Что бы со мною стало без работы в kontore?», или: «Жена умерла, но, к счастью, завтра мне надо подготовить целую кипу важных документов». Путешествие лишает нас этого убежища. Вдали от близких, от родного языка, утратив всякую опору, лишившись всех масок (поди догадайся, почем тут трамвайный билет, о прочем и говорить нечего), мы целиком всплываем на поверхность самих себя. Но эта душевная неустроенность позволяет нам вернуть каждому существу, каждой вещи их изначальную волшебную ценность. Бездумно танцующая женщина, бутылка на чьем-то столе за оконной занавеской – каждый образ становится символом. Кажется, что в них сполна отражается вся жизнь в той мере, в какой в этот миг сводится к ним наше собственное существование. Мы благодарим жизнь за все ее дары, но как описать те разноречивые формы опьянения, вплоть до опьянения ясностью ума, которые нам дано испытать? Ведь ни один край, кроме Средиземноморья, так не отдался и одновременно не приближал меня к моей сути.

Вот какие чувства обуревали меня, когда я сидел в кафе Пальмы. Однако в поддень, в пустынных кварталах вокруг монастыря, среди старинных дворцов и свежих палисадников, на улицах, пахнущих тенью, меня, напротив, поразило ощущение некой «неспешности». Там не было ни души, только на террасах застыли силуэты старух. Шагая по улице, заглядывая во дворики, полные зелени, вьющейся по округлым серым столбам, я растворялся в этом благоухании тишины, терял представление о себе самом, превращался в отзвук собственных шагов, в птичью стайку, чья тень изредка мелькала на верху еще озаренных солнцем стен. Я часами оставался в тесном готическом клуатре собора Св. Франциска. Его изысканная и вычурная колоннада лучилась дивной желтизной, свойственной старым монументам Испании. Во дворе росли олеандры и перечные деревца, виднелась кованая колодезная ограда с висевшим на ней ржавым черпаком. Из него пили прохожие. Мне до сих пор иногда слышится чистый звук, с которым он ударялся о каменную кладку. Но не тихой радости бытия научила меня эта обитель. В сухом плеске голубиных крыльев, в затаившейся среди сада тишине, в отдаленном скрежете колодезной цепи я ощущал незнакомый и в то же время такой привычный привкус. Я просветлел и улыбался этой неповторимой Нире обличий. Но мне чудилось, будто кто-то неосторожно оставил трещину на кристалле, в котором сквозило безмятежное лицо мира. Что-то должно было разладиться, голубиный полет должен был прерваться, каждой из птиц суждено было, расправив крылья, медленно осесть на землю. Только мое собственное безмолвие и неподвижность придавали правдоподобность тому, что так походило на иллюзию. Я вступал в Нире. Не будучи обманутым, я отдавался видимостям. Дивное золотое солнце потихоньку грело желтые камни монастырского дворика. Женщина черпала воду из колодца. Но через час, через минуту, через секунду, – быть может, в этот самый миг все вокруг могло обратиться в ничто. И однако чуду не было конца. Мир жил дальше – застенчивый, насмешливый и скромный, какой бывает нежная и сдержанная женская дружба. Равновесие сохранялось, хотя и было окрашено предчувствием близкого конца.

В этом и состояла моя любовь к жизни: молчаливая страсть ко всему, что готово было ускользнуть от меня, горький пепел под пламенем. Каждый день я покидал обитель с таким чувством, словно я отнят у самого себя и на краткий миг притчён к длительности мирового бытия. Теперь мне понятно, отчего я думал тогда о незрячих глазах дорических Аполлонов, о застывших и дышащих огнем фигурах джотто[9 – С появлением улыбки и взгляда начинается упадок греческой скульптуры и распространение итальянского искусства. Словно красота иссякает там, где начинается дух.]. Ведь в тот миг я отчетливо сознавал, чем могут одарить меня подобные страны. Меня восхищало, что на берегах Средиземноморья можно обрести

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

ручательства и правила жизни, которые способны утолить разум, оправдать жизнелюбие и доверительное отношение к людям. И еще меня поражало тогда не то, что мир Средиземноморья сотворен по человеческим меркам, а то, что он замыкается на человеке. Язык этих стран был созвучен тому, что раздавался в моей душе, но не оттого, что он мог ответить на мои вопросы, а оттого, что показывал их бесполезность. И не изъявления благодарности готовы были сорваться с моих губ, а горькое слово «*nada*» – «ничто», которое могло родиться только среди этих испепеленных солнцем пейзажей. Любви к жизни нет без вызываемого жизнью отчаяния.

Будучи в Ивисе, я каждый день заходил в портовые кабачки. Часам к пяти местные девушки и парни начинали двумя рядами прогуливаться вдоль причала. Здесь заключаются браки, здесь начинается жизнь. Поневоле думаешь, что есть некое величие в том, чтобы начинать жизнь вот так, на виду у всех. Я усаживался, еще пошатываясь от дневного солнца, переполненный белыми церквями и белеными стенами, выжженными полями и корявыми оливами. Я пил тепловой оршад, смотрел на извины холмов прямо передо мной. Они мягко спускались к морю. На самом высоком из них последний порыв бриза ворочал крылья ветряной мельницы. Будто йо волшебству все вокруг начинали говорить вполголоса, так что оставалось только небо да возносящиеся к нему певучие слова, звучавшие словно откуда-то издалека. В этот краткий миг сумерек все было напоено какой-то мимолетной грустью, ощущимой не только отдельными людьми, но и целым народом. Мне хотелось кого-то любить, как иногда хочется беспрчинно расплакаться. Мне казалось, что отныне каждый час, отданный сну, будет похищен у жизни... то есть у времени беспредметных желаний. Как в те трепетные часы, проведенные в кафе Пальмы и в обители Св. Франциска, я был недвижим, напряжен и бессилен перед могучим порывом, стремившимся уместить в моих ладонях целый мир.

Я знаю, что ошибаюсь, что есть предел всякой самоотдаче. А если это так, то за ним-то и начинается творчество. Но нет пределов любви, и пусть мои объятья неуклюжи, – ведь я обнимаю весь мир. Я знал генуэзских женщин, чьи улыбки могли восхищать меня целое утро. Я никогда их больше не увижу, да и, сказать по правде, ничего особенного в этих улыбках не было. Но словами не погасишь огонек сожаления об утраченном. Стоя у колодца в обители Св. Франциска, я следил за полетом голубей и забывал о жажде. Однако неизменно наступал миг, когда она воскресала.

ИЗНАНКА И ЛИЦО

Это была нелюдимая и своеобразная женщина. Она поддерживала тесное общение с духами, принимала участие в их распрях и отказывалась видеть некоторых членов своей семьи, которых плохо воспринимали в том мире, где она укрывалась.

От сестры она получила небольшое наследство. Эти пять тысяч франков, привалившие ей на исходе жизни, обернулись липшими хлопотами. Их нужно было как-то употребить. Почти все способны пользоваться большим состоянием, и трудности начинаются, когда сумма невелика. Эта женщина осталась верна себе. Приближаясь к смерти, она решила дать приют своим старым костям. Ей помог случай. На городском кладбище истекли сроки аренды на одном из участков, и владельцы воздвигли из черного мрамора склеп строгой формы, настоящее сокровище, которое они готовы были уступить за четыре тысячи франков. Этот склеп она и купила. Это было надежное вложение денег, ценность которого не зависела ни от биржевых колебаний курса, ни от политических событий. Она распорядилась привести в порядок внутреннюю часть могилы, чтобы та готова была принять ее тело. Когда все было исполнено, она распорядилась высечь свое имя крупными золотыми буквами.

Эти хлопоты захватили ее так глубоко, что она стала испытывать истинную любовь к своей могиле. Сначала она приходила смотреть на ход работ. А в конце концов стала посещать свою могилу каждое воскресенье после полудня. Это был ее единственный выход из дома и единственное развлечение. Около двух часов пополудни она проделывала долгий путь, ведущий к городским воротам, где находилось кладбище. Она заходила в маленький склеп, бережно закрывала дверь и преклоняла колени на молитвенной скамеечке. Вот так наедине с собой она сопоставляла то, чем была, и то, чем должна была стать, соединяла разорванные звенья цепи и без усилий раскрывала тайные замыслы Провидения. Однажды она, благодаря особому знаку, вдруг поняла, что с точки зрения окружающих она уже

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org

умерла. На праздник Всех Святых, который наступил позже обычного, она обнаружила, что могила ее благоговейно усыпана фиалками. Деликатно проявив внимание, сердобольные незнакомые люди положили на эту могилу, лишенную цветов, часть своих цветов и почтили память всеми покинутой покойницы.

Но я всего этого не принимаю. От сада за окном я вижу только стены. И немного листвы, пронизанной светом. Выше – еще листва. Еще выше – солнце. Но из всего этого ликования воздуха, которое ощущается снаружи, из всей этой радости, разлитой над миром, я вижу только тени ветвей, играющие на белых занавесках. А также пять солнечных лучей, терпеливо наполняющих мою комнату запахом подсохших трав. Легкий ветерок – и тени резвятся на занавеске. Когда облако закрывает, а потом открывает солнечный диск, из тени выплывает ярко-желтая вспышка вазы с мимозами. Этого достаточно: один зарождающийся отблеск – и я уже переполнен смутной дурманящей радостью. Этот январский день открывает мне изнанку мира. Но в глубине воздуха затаился холод. Повсюду солнечная пленка, которая хрустит под ногтями и облизовывает все предметы вечной улыбкой. Кто я и что мне еще делать, как не вступить в игру листвы и света? Стать этим лучом, в котором тлеет моя сигарета, этой мягкостью и этойдержанной страстью, пронизывающей воздух? Если я пытаюсь обрести себя, то именно внутри этого света. И если я тщусь понять и насладиться этим тонким вкусом, открывающим тайну мира, то в глубине вселенной я нахожу самого себя. Самого себя, то есть мое крайнее волнение, которое избавляет меня от окружающего.

Но что сказать обо всем другом – о людях и могилах, которые они покупают? Разрешите мне вырезать это мгновение из ткани времени. Некоторые оставляют цветок меж страниц, прячут туда прогулку, где их коснулась любовь. Я тоже прогуливаюсь, но меня ласкает некий бог. Жизнь коротка, и грешно терять время. Говорят, я человек деятельный. Но быть деятельным – это тоже терять время соразмерно тому, как теряешь себя. Сегодня – некая передышка, и мое сердце устремляется на встречу с самим собой. Если меня все еще обуревает тревога, то скорее всего от ощущения, что это неосязаемое мгновение проскальзывает сквозь пальцы, как шарики ртути. Оставим же тех, кто предпочитает повернуться спиной к миру. Я не жалуюсь, ибо наблюдаю свое рождение. В этот час все мое царство принадлежит сему миру. Это солнце и эти тени, эта жара и этот холод, идущий из глубины воздуха; буду ли я вопрошать себя: существует ли смерть и людские страдания, если все написано на этом окне, куда небо изливает свою полноту навстречу моему состраданию? Я могу сказать и сейчас скажу, что единственное стоящие вещи – человечность и простота. Даже не так: единственное, что нужно – это подлинность, а человечность и простота в нее вписываются. А ведь самый подлинный я тогда, когда следую за миром. Я удовлетворен еще до того, как этого пожелал. Вечность здесь, и я на нее уповал. Теперь я уже не желаю быть счастливым, но только хочу все сознавать.

Один созерцает, а другой роет себе могилу: как их разделить? Как разделить людей и абсурдность их жизни? Но вот улыбка неба. Свет разбухает, скоро наступит лето? Но вот глаза и голоса тех, кого нужно любить. Я держусь за мир всеми своими поступками, за людей – всем своим состраданием и благодарностью. Я не хочу выбирать между лицом и изнанкой мира, я не люблю выбирать. Люди не хотят, чтобы ты был прозорливым и насмешливым. Они говорят: «Это доказывает, что вы человек недобрый». Я не вижу тут особой связи. Конечно, если я слышу, как кому-то говорят, что он аморален, я полагаю, что ему следует потрудиться над своим нравственным обличком; когда говорят еще о ком-то, что он презирает разум, я понимаю, что этот человек не может вынести своих сомнений. Но все это потому, что я не люблю плутовства. Великое мужество заключается в том, чтобы прямо смотреть на свет, как и на смерть. Впрочем, что сказать о пути, по которому проходишь от этого безоглядного жизнелюбия к полному отчаянию? Если я слышу иронию[10 – Эту гарантию свободы, как говорит Баррес. – Прим. автора.], запрятанную где-то в глубине вещей, она понемногу себя обнаруживает. Подмигивая ясным глазком, она говорит: «Живите так, словно...» Несмотря на все поиски, вот и все мое знание.

В конце концов, я не уверен, что прав. Но это и не важно, когда я вспоминаю о женщине, чью историю мне как-то рассказали. Она умирала, и дочь обрядила ее для могилы, когда женщина была еще жива. И действительно, сделать это легче, пока члены еще не окоченели. И все же странно, что мы живем среди столь торопливых людей

Сноски

1

К изданию 1954 года.

2

Жан Гренье.

3

Он прост: «Эта книга уже существует, но в ничтожно малом количестве экземпляров, которые стоят очень дорого. Почему только богатые имеют возможность ее читать?» И действительно, почему?

4

Арабский музикальный инструмент, подобие барабана.

5

То есть для всех. – Прим. автора.

6

См. предыдущее примечание. – Прим. автора.

7

В великолепии природы обновляется дух.

8

Известная непринужденность во время веселья – признак истинной цивилизации. Испанцы же – один из немногих цивилизованных народов Европы.

9

С появлением улыбки и взгляда начинается упадок греческой скульптуры и распространение итальянского искусства. Словно красота иссякает там, где начинается дух.

10

Эту гарантию свободы, как говорит Баррес. – Прим. автора.

Камю Альбер Изнанка и лицо filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfedor.ru/> Приятного чтения!